



Г. В. ФЛОРОВСКИЙ

У истоков (1936)

Толстой — писатель очень личный, и понять его творческое развитие вполне можно только из опыта его жизни. В художественном творчестве продолжается его личная жизнь, искание ее смысла... Не случайно Толстой приходит к литературе через дневник, писать начинает именно в такой интимной манере. «Дневник тем самым должен рассматриваться не только как обычная тетрадь записей, но и как сборник литературных упражнений и литературного сырья» (*Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. I. 35).

Ранние дневники Толстого производят неожиданное впечатление. Точно писал их кто-то из сверстников Жуковского¹, если не Карамзина². Это характерный дневник сентиментальной эпохи. Толстой как-то запаздывает душевно в прошедшем столетии... Его дневник всегда нравоучительный, дневник поведения и нравов, «Франклиновская книга», «журнал для слабостей», почти что кондуитный список для записи грехов и проступков и для планов исправления. Это книга самоанализов, средство следить за собою. Это записи человека, очень собой недовольного. Он знает, что живет плохо и дурно поступает, и вот — хочет исправиться. Это значит постановить твердые правила жизни и поступать по ним. Это мораль закона... «В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния» (запись 7 IV 1847, XLVI. 20). У Толстого является мысль составить описание жизни. «Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже; слишком трудно, почти невозможно; однако попробую сначала на день, потом на два дня — сколько дней я буду верен определениям, на столько дней буду задавать вперед. Под определениями этими я разумею не моральные правила, не зависящие ни от времени, ни от места, правила, которые никогда не изменяются и которые я

составляю особо, а именно определения временные и местные: где и сколько пробыть, когда и чем заниматься» (запись 14 VI 1850, XLVI. 34)...

Характерная склонность жить по расписанию остается у Толстого на всю жизнь. Это придает морализму Толстого какой-то казуистический характер. У него была особенная тяга к нравочениям, изо всего выводить мораль. «А право, не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравочение — цель его» (зап. 18 XII 1853, XLVI. 214). Толстой с молодости был убежден, что «нравственная цель» литературы есть единственная. И потому ему хотелось писать проповеди. «Хочу писать проповеди» (6 IV 1851, XLVI. 58, запись в Великую пятницу). «Написал проповедь, лениво, слабо и трусливо» (18 IV 1851, Пасха). «Издавать нравственный журнал. Составить религиозное руководство простому народу в проповедях... Исправить молитвы... Написать общие правила для жизни. Время изгнания употребить на усовершенствование характера» («Правила и предположения», XII 1853 — I 1854, XLVI. 293)...

Жизнь Толстого принято представлять под знаком кризиса, перелома, «обращения». Однажды, в конце семидесятых годов: «И жизнь моя вдруг переменялась» — точно путник повернул назад, «домой», и что было слева вдруг оказалось справа... Такое изображение верно только отчасти. Кризис семидесятых годов был несомненным потрясением. Но это бурное душевное потрясение не означало перемены в мировоззрении, не означало и психологической перемены. То была точно судорога в неразмыкаемом душевном круге. Но круг так и не разомкнулся. Изменилось только самочувствие, тонус жизни, чувство жизни. Но не было рождения «нового человека». Не было мистического откровения, встречи, прорыва. И не было перемены во взглядах. Напротив, так показательна эта однодумность Толстого, упорное и упрямое однообразие его мысли. И душевный стиль не меняется от юности и до конца. Не удивительно ли, что уже в 1855 году Толстой мог записать у себя в дневнике: «Разговор о Божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, — религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать эту мысль следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в

исполнение. Действовать сознательно к соединению людей религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня» [запись 5 III 1855; *Бирюков*. I (1906), 250].

Религиозные мотивы в этих «дневниках молодости» вообще очень сильны. По дневникам можно судить вполне и о чтении Толстого. Всеми своими симпатиями он в XVIII веке: Руссо, Стерн³, Бернарден де Сен Пьер⁴, Бюффон⁵, «Vicar of Wakefield» Голдсмита⁶, из русских Карамзин. Читал Толстой еще екатерининский «Наказ» и Монтескье⁷. «Sentimental Journey» Толстой даже переводил, «Paul et Virginie» не раз цитирует в дневнике. Всего же характернее увлечение Руссо. «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им, я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал» (*Бирюков*. I. 124). Это не было просто влияние, и даже не усвоение. Толстой узнает в этой сентиментальной стихии свое родное, личное, в ней находит самого себя. Он очень целен в этом «сентиментальном» стиле (ср. его письма к Т. А. Ергольской в LIX томе юбил. издания).

То, что принято называть «сентиментализмом», не было только литературным движением или направлением. Это было сперва именно мистическое движение, это был религиозно-психологический сдвиг. И его истоки нужно искать в испанской, голландской и французской мистике XVI и XVII веков. Это было пробуждение сердца, открытие внутреннего мира, открытие сердечной глубины в повседневной, домашней, семейной жизни. И книги сентиментальных писателей получали смысл религиозного благовестия. Известная книга Юнга⁸ «The Complaint or Night-thoughts» — это не только чувствительная поэма, не только исповедь сентиментального человека, но и мистический путеводитель нового, «пробужденного» поколения. Пиетическая волна в XVIII веке прокатывается через всю европейскую культуру. И это историческое влияние или значение пиетизма в становлении нового духа еще не учтено достаточно. Но нужно вспомнить о его влиянии на Гете (см. особенно «W. Meisters Lehrjahre»)⁹. Нужно вспомнить, что Новалис и Шлейермахер¹⁰ вышли из геррингутерских кругов оба. И нужно помнить, что Руссо ведь исторически и психологически был тоже только обмирщенным пиетистом. Основная категория здесь одна: «прекрасная душа»...

Влияние западного пиетизма в русской культуре вообще было очень сильно начиная с Карамзина и Жуковского. Толстой принадлежит к тому же историческому преемству. И его религиозно-моралистическая влиятельность свидетельствует о всей силе

этих пиетических впечатлений в русской душе, совсем не изжитых и не исчерпанных в свое время. Александровской эпохой Толстой заинтересовался не случайно. И если Пьера Безухова он как будто стилизует под свое время, то разве не хотел он еще больше самого себя и саму современность застилизовать именно под пиетизм старинных времен!

Толстой проповедует «обращение», *conversion*¹¹. То, что может быть названо толстовством, и есть проповедь обращения. Нужно пройти через разрыв и перелом и не только «обратиться», но именно пережить обращение, осознать и почувствовать себя «обращенным» (или «спасенным»). Иначе: начать новую жизнь сознательно и добровольно — решиться и решить. Вместо «обращения» можно подставить и другие термины: «возрождение», «пробуждение», «воскресение» — в первоначальной западной форме это будет: *Erweckung* или *revival*¹², основные термины немецкого и англо-американского пиетизма. «Воскресение» построено вполне по схемам пиетистов. И симпатии Толстого к англосаксонским сектантам объясняются тождеством и вот этого чувствительного благочестия.

В творчестве Толстого сентиментализм вновь прорывается в верхние исторические пласты русской культуры... И в этом смысле творчество Толстого оказывается анахронизмом.

Толстой психологически оказывается вне своего века, вне современности и истории. Отчасти просто оказывается, отчасти сознательно уходит, отступает или укрывается из современности в какое-то, скорее надуманное, прошлое. И свою отсталость от истории Толстой закрепляет своим отрицанием истории. Эту сторону творчества Толстого очень удачно показывает Б. Эйхенбаум в своей большой книге о Толстом (2 тома, 1928 и 1931). «Толстой — воинствующий архаист, отстаивающий в середине XIX века принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII века» (I. 11)... «Архаизм» Толстого — это очень сложный сросток, в котором не сразу распознаешь все отдельные составляющие. «Архаизм» как система не означает простого опоздания или задержки в развитии. В нем есть свой волевой упор, даже упрямство, ссора или разрыв с «современностью», с «действительностью». Весь Толстой в этом разрыве, в этой вражде с исторической «средой» и с самой историей, в этом противопоставлении. «Можно сказать, что художественное творчество Толстого родилось из этого архаистического пафоса — как демонстрация против “современности”; поэтому оно в основе своей нигилистично, вдохновлено отрицанием “убеждений”, по отношению к которым у него всегда готов вопрос: “Не вздор ли это все?”»,

и, напротив, утверждением примитивных абсолютных “истин”, существующих вне истории и вклиняющих человека в природу» (I. 291)... В кругу своих литературных современников Толстой чувствовал себя чужим. Ему равно были чужды и «отцы», и «дети» — люди сороковых и люди шестидесятых годов. «В сущности говоря, Толстой стоит спиной ко всей русской культуре после двадцатых годов и живет больше своеобразной пересадкой некоторых западных традиций и течений, выбирая среди них именно то, что наиболее чуждо русской интеллигенции нового времени. Рядом с Руссо он использует некоторые тенденции западного свободомыслия (Прудона, Мишле¹³, литература против Наполеона I), поворачивая их так, что они оказывались направленными против русского радикализма и получают тот же нигилистический характер» (I. 282)... «Он отрицает все достижения русской интеллигенции и строит свою систему (если не убеждений, то понятий) на тех основах, которые характерны для конца XVIII века (Новиков, Радищев, Карамзин). А так как русская дворянская культура недостаточна и несамостоятельна, то огромное значение для него приобретает Запад... Можно прямо сказать, что Толстой, по своим источникам, по своим традициям, по своей “школе”, — наименее русский из всех русских писателей» (I. 288)...

Внешним проявлением этого разрыва с современностью у Толстого был его первый уход в Ясную Поляну в 1858 г., этот «первый толстовский кризис», толстовский «уход из литературы», уход в деревенскую жизнь и потом в «семейное счастье». Это был именно уход, или исход, — из города в село, из истории к природе, от интеллигентов к народу. Эйхенбаум справедливо отмечает, что у Толстого в эти годы «народничество и радикализм принимают какой-то почти погромный характер» (I. 374). Несомненны автобиографические черты в психологии Левина, в его деревенской вражде к городской культуре. «Так называемый “культурный человек”, эрудит, “следающий” за наукой и впитывающий в себя разнообразные знания, для Толстого человек загадочный, если не шарлатан или почти идиот» (I. 283)...

Есть в этом, однако, и другая глубина. Толстой был по-своему апокалиптик, он всегда ведем в будущем и в должном, в должествованиях, возможностях и надеждах. И «апокалипсис», как обычно, смыкает «историю». То, что в одном аспекте есть «нигилизм», в другом есть именно «апокалипсис». Одна «действительность», *ложная*, отрицается или отвергается ради другой, еще не наставшей, но *истинной*. Исторический *обман* ради взыскуемой *правды*. В том вся динамика творчества Толстого, что *все дан-*

ное, что *вся история и вся современность* есть для него единая *великая ложь*, обман и самообман человечества. Не только в истории есть ложь и много лжи и неправды, но *все есть ложь* и ни в чем еще нет правды. Отсюда у Толстого вся эта боль и тревога — за себя, за других, за весь исторический мир. В этом ригористическом нигилизме и вся «религия» Толстого. Толстой всегда остается психологически в разомкнутом кругу Реформации, с ее потрясенностью неисцелимостью греховного мира. Спасается человек «верою» или «обращением», т. е. отречением и надеждой. Но в его эмпирическом или историческом состоянии еще не наступает перемены. Потому и приходится все время отрицать, выступать, исходить из истории...

Сила Толстого в его обличительной откровенности, в его моральной тревоге. У него услышали призыв к покаянию, точно некий набат совести. Но именно в этой точке всего острее чувствуется и вся его ограниченность и немощь. Ибо Толстой не умеет объяснить происхождение этой жизненной нечистоты и неправды. Его объяснение и слишком просто, и слишком радикально. Он просто отрицает культуру и историю как нечто недолжное и потому неправедное. Исправить историю нельзя, можно только уйти из нее. И Толстой слишком упрощает реальность зла, точно можно все свести к одному непониманию или безрассудству, все объяснять «глупостью» или обманом» или «злонамеренностью» и «сознательной ложью». Все это очень характерные черточки «просветительства» все того же XVIII века, «чувствительного» и «вольнодумного» вместе. Толстой отстаивает даже от своего собственного опыта, из которого он так хорошо знал о соблазняющей власти страстей, — но и страстям он противопоставляет правила и правила, внешний запрет и осуждение закона... Есть разительное несоответствие между агрессивным максимализмом социально-этических обличений и отрицаний Толстого и крайней бедностью его положительного нравственного учения, сведенного к здравому смыслу и к житейскому благоразумию. Оптимизм здравого смысла неизбежно оборачивается упрощительным нигилизмом. Основное противоречие Толстого в том именно, что для него жизненная неправда вконец преодолевается, строго говоря, только *отказом от истории*, выходом из культуры и опрощением, то есть — чрез снятие вопросов и отказ от задач...

Толстой уходил из истории не раз. В первый раз это было в конце 50-х годов, когда он замкнулся в Ясной Поляне и отдался своим педагогическим экспериментам. Это был исход из культуры, ибо всего меньше Толстой думал тогда о влиянии на народ. Нужно узнавать *волю народа* и ее исполнять. В самом «противо-

действию народа нашему образованию» Толстой усматривал справедливый суд над этой бесполезной исторической культурой. Ведь мужику действительно не нужна ни техника, ни изящная литература, ни самое книгопечатание. Спрос на них создается только напрасным и опасным усложнением всей жизни. Несколько позже Толстой убеждается, что и всякая философия, и всякая наука есть только *бесполезное излишество*. И от него он ищет укрытия в *трудовой* жизни простого народа. В своей известной статье: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862) Толстой уже предвосхищает в основном свой будущий памфлет об искусстве (1897). И тот же замысел в «Войне и мире». Овсяннико-Куликовский¹⁴ очень удачно определял этот жанр как «*нигилистический эпос*». Большая история для Толстого есть только игра. И в этой игре нет героев, нет действующих лиц, есть только незримый рок и поступь безликих событий. Все точно снится. Все распадается и разложено в систему сцен и ситуаций. Это скорее маски жизни. В истории ничего не достигается. Из истории нужно укрыться... И последним приступом нигилистической борьбы Толстого был его религиозный кризис. *Он отверг Церковь, потому что отрицал историю и человека*. Он захотел остаться наедине. Гордость и самоуничижение странно сменяются в этом *нигилизме от здравого смысла*... В этом пафосе *исторического неделания* Толстой неожиданно сходится с Победоносцевым¹⁵. При всем различии темпераментов и настроений они сближаются в исходных предпосылках, как были идейно близки Руссо и Эдмунд Берк¹⁶. Победоносцев был тоже «архаистом», как и Толстой, и тоже мечтал и старался удержать «народ» вне культуры и истории и тем спасти от порчи и погибели. Победоносцев верил в народ и не верил в историю. Он верил в прочность патриархального быта, в растительную мудрость народной стихии и не доверял личной инициативе. Он верил в простой народ, в силу народной простоты и первобытности и не хотел разлагать эту наивную целостность чувства ядовитой прививкою рассудочной западной цивилизации. Конечно, весь этот культ непосредственности у Победоносцева от обратного, от противного. И сам Победоносцев всего меньше был человек непосредственный, всего меньше жил инстинктом или чутьем. От собственной отвлеченности он ищет врачевания или противоядия в народной простоте. От собственной безытности он хотел бы укрыться в народном быте, вернуться к «почве». Он был уверен, что вера крепка и крепится нерассуждением (ср. у Берка «*préjudice*», предубеждение). Он дорожит *коренным* и *исконным* больше, чем истинным. Победоносцев боялся просвеще-

ния народа, боялся пробуждения религиозного сознания в народе, потому что для него это были отрицательные и ложные начала. Он верил в *охранительную* прочность патриархальных устоев, но не верил в *созидательную* силу Христовой истины и правды. Он опасался *всякого* действия, *всякого* движения — охранительное *бездействие* ему казалось *надежнее* всякого действия, *даже подвига*. Он не хотел усложнения жизни, — «что просто, только то право»... И нужно прибавить, Победоносцева привлекал тот же чувствительный англосаксонский пиетизм, что и Толстого, тот же сентиментальный дух, — достаточно почитать его «Московский сборник». Внутренняя свобода православия пугала и отталкивала Победоносцева. Потому и настаивал он так на государственной опеке. Он не угадал святости преп. Серафима, не любил ни еп. Феофана (Затворника), ни о. Иоанна Кронштадтского... Сходство не значит согласие. Сходство означает принадлежность к единому культурно-психологическому типу. Сходство Толстого и Победоносцева не было случайным. И во многом они одинаково *веруют в природу и не веруют в человека* — верят в закон и не доверяют творчеству...

И важно отметить, в те годы (1860—1880) русское общество вообще переживает странный рецидив того, что сразу можно назвать и «просвещенством», и «пиетизмом». Отсюда интерес к Руссо, тяга к земле и уход в деревню, своего рода недоверие к истории, «нигилизм», часто и разочарование... Психологическая история русского общества еще не написана. Но будущий историк с особым вниманием должен будет остановиться на истории этого сложного типа, к которому принадлежал Толстой.

